

Op82
A-69

Николай
Аннов



Ак-Метель
Бренбург 1.9.58

ОРБЗ
#69

+ ОРБЗ

+ ОРБЗ
(Печать)

Николай Яков

Ак-Метель

(Исторический роман)



Оренбургское Книжное Издательство
1958

715071

ни одного стога, ни одного крика. Плещеев взглянул на Пшеничникова и содрогнулся от ужаса: большой шматок кожи болтался на левой лопатке.

Старовер выдержал полностью тысячу ударов и упал без чувств. Пшеничникова следом за Прошкиным отнесли в госпиталь.

Капитан Жариков, любуясь красотой своего голоса, командовал:

— Первая шеренга, кру-гом! Вторая шеренга, четыре шага вперед — арш! Нале-во! Ряды — сдвой!

Вторая рота ушла с плаца первой.

— Песню!

Курносый ефрейтор Петр Дудка затянул тонким тенорком:

То не кукушечка да куковала...

Подойдя к казарме, Плещеев увидел запыленный тарантас, стоявший неподалеку от ворот. В тарантасе сидела пожилая черноглазая дама в лиловом бурнuse. Плещеев чуть не выронил ружье от неожиданности, узнав мать.

УТРО ПЕРОВСКОГО

Перовского мучили одинаково бессонница и сны.

...Лаучи¹ шли рядом с верблюдами, проваливаясь по колени в снег. Окоченелые трупы замерзших солдат лежали на пути следования отряда. Измученные, обессиленные лошади стояли в мерзлых кожаных пополах, как в латах, повесив головы. В пустыне свирепствовал буран. Верблюды стали ложиться в снег. Перовский увидел обмороженное лицо испуганного офицера.

— Ваше высокопревосходительство! Солдаты второго батальона отказываются идти!

Мутная кисея заволакивала растянувшийся на многие версты караван. Где этот офицер, не знающий дисциплины, забывший присягу? Почему он говорит глупости, допустимые только для штатского человека? Почему он не докладывает, что зачинщики уже расстреляны и порядок в батальоне восстановлен?

Перовский поворачивает коня. Он едет по замерзшим

¹ Лаучи — верблюдовожатые.

солдатским трупам. Они лежат плотными рядами, образуя широкую лестницу, ведущую на вершину горы. Конь шагает по трупам, как по ступенькам. И чем выше поднимается Перовский, тем слабее становится ветер. Вот командир корпуса на самой вершине. Над головой его — синее, прозрачное небо, а рядом — стройные минареты покоренной Хивы.

Но подножие горы вдруг начинает колебаться. И снова Перовский видит офицера с обмороженным лицом. Он опять докладывает о солдатах второго батальона.

И снова неистовствует буря. И уже нет горы. В снежной пустыне лежат измученные верблюды. Стонут больные солдаты, подвязанные в люльках к верблюжьим горбам. Писатель Даль, — он же и доктор, — уверяет, что больным хорошо, но они мрут словно мухи. Их тяжело хоронить. Надо обязательно зарывать в землю, промерзшую и твердую, как камень.

Зарывать в землю!

Негодяй из второго батальона нагло сказал в лицо командиру, что он солдат, а не скот и хочет, чтобы его, когда он умрет, похоронили в могиле, а не бросили, как падаль. Офицер с обмороженным лицом не знает, что делать. Но он, генерал, знает, как нужно поступать в таких случаях.

— Построить батальон!

Сквозь замерзшие ресницы он видит пухлые холмы снега и черные шеренги измученных походом солдат.

— Товарищи! — говорит генерал, обращаясь к батальону. — Товарищи!

Он подчеркивает это слово, которое ему нравится и которое он употребляет даже в письменных приказах.

— Я веду вас через пустыню, и я отвечаю за жизнь каждого из вас перед Россией...

Его слова сливаются с воем ветра. Он поднимает руку и, показывая на зачинщика смуты, торжественно заканчивает речь:

— Товарищи! Выройте ему сейчас же могилу!

Смутяна закопали живым в землю на глазах всего батальона. И люди сразу же пошли дальше. Лаучи подняли и повели верблюдов. И снова трупы на снегу, страшные, окоченевшие. Они, как вехи на пути к славе. Перовский едет на лошади, а под ним колышется земля. Это зарытый живой солдат мешает генералу идти на Хиву. Это он не дает ему покоя. Вот сейчас он вылезает из камина и

крадется вдоль стены... Длинные, костлявые руки его тянутся к горлу генерала. Перовский хочет повернуться и не может.

— Уйди! — умоляюще шепчет генерал. — Уйди...

И начинает кричать тонким, плачущим, старческим голосом.

...Камердинер Татаринов вошел на цыпочках в спальню губернатора.

— Ваше высокопревосходительство! Ваше высокопревосходительство! Проснитесь!

Перовский с трудом разомкнул тяжелые веки.

— Изволили опять кричать! — строго сказал камердинер.

— Во сне, — ответил губернатор, дотрагиваясь тонкими пальцами до мокрого лба. — Иди!

Он задумчиво посмотрел на лысую, блестящую, как бильярдный шар, голову Татаринова.

— Иди!

Татаринов вышел на цыпочках, так же неслышно, как и вошел. Перовский молча лежал в кровати, вспоминая дурной сон.

Прошло тринадцать лет, а он до сих пор не может забыть несчастный Хивинский поход и солдата, зарытого живьем в могилу. Вот казахи-лаучи, которых он так же безжалостно приказал расстрелять одного за другим на глазах отца, когда они не захотели вести верблюдов, те почему-то не снятся. Почему же этот безбровый, веснушчатый солдат не дает ему покоя?

Перовский, полузакрыв глаза, погрузился в глубокое раздумье. Ночной сон не выходил из головы, мысли неизменно возвращались к неудачной хивинской экспедиции. Почему он так часто стал перебирать в памяти подробности того бесславного зимнего похода, бесцельно погубившего тысячи солдатских жизней? Что это — совесть?

Первый солнечный луч ударил в окно. Перовский отбросил простыню и, поднявшись, накинул бухарский халат на плечи. Он чувствовал сильную ломоту во всем теле. В пояснице ощущалась тупая боль — двадцать семь лет назад на Сенатской площади, во время подавления восстания декабристов, кто-то из черни ударил царского флигель-адъютанта поленом по спине. Этот удар, как и рана от турецкой пули, за последние годы беспокоил генерала все более и более.

Декабристы!

А ведь и он был в юности членом тайного общества московской молодежи, и он отдал дань духу времени, мечтая о республике в России. Окончив семнадцать лет Московский университет и поступив в Муравьевскую школу колонновожатых, он вместе с братом Львом вошел в юношеское братство «Чока», которое ставило перед собой высокую цель переустройства человеческих отношений в духе требований республики Руссо. Совместно с Артамоном Муравьевым и писателем Грибоедовым он мечтал о первой пробе новой республиканской жизни на острове Сахалине.

А вернувшись из Франции после победы над Бонапартом, он, подобно многим гвардейским офицерам, вступил в тайное военное общество, Союз Благоденствия.

Юность, о далекая юность с пылкими мечтами! Он счастливо отошел от опасных друзей за шесть лет до их гибели. Двадцать пятого декабря на Сенатской площади окончательно разошлись дороги бывших членов тайного общества. Одни пошли на виселицу, другие — в сибирские рудники, а он, за верность престолу и новому монарху, — к большим почестям. Нет, не любил он вспоминать свою причастность к декабристам!

Губернатор, морщась от боли, направился в кабинет. По пути он остановился перед зеркалом. Из овальной рамы смотрел на него высокий сутуловатый старик с измученным суровым лицом. Сколько седых волос! Они отливали темным блеском, как черненное серебро. Беспощадное время острой иглой проводит на лбу и щеках все новые и новые морщины, ведя безобманную запись пережитых страстей, радостей и неудач.

Перовский тяжело вздохнул, покусал курчавый ус и подумал: «От старости вылечит только могила!».

Он вошел в кабинет, отделанный эбеновым деревом¹. На письменном столе лежала раскрытая испанская книга — Перовский читал «Дон-Кихота». Он знал язык Сервантеса и любил его. Взгляд генерала задержался на эмалированном портрете сына. Алеша улыбался веселыми, яркими глазами. Перовский взял овальный портрет в руки, долго

¹ Эбеновое дерево — черное дерево.

рассматривал каждую черточку любимого лица, искусно воспроизведенного знаменитым лиможским¹ мастером.

— Сорванец! — прошептал генерал и поцеловал прохладную эмаль.

Эта нежность к сыну всегда проявлялась по утрам, и обычно, поцеловав изображение любимца, Перовский переводил взгляд на другой портрет, висевший над письменным столом. Старый друг, художник Брюллов, написал масляными красками молодую женщину. Она могла бы быть названа красавицей, если бы ее немного надменное лицо не портили резкие губы с чувственной и ядовитой усмешкой. Белокурая, с покатыми плечами женщина в открытом бальном платье смотрела из золоченой рамы на генерала, и глаза ее, слегка прищуренные, всегда загадочно улыбались.

Губернатор нахмурил брови.

Несколько раз этот портрет перевешивали из кабинета в другие комнаты, но рано или поздно он неизменно возвращался на прежнее место. И сегодня генерал подумал, что следовало бы портрет повесить в диванной или в столовой возле буфетного шкафа.

Перовский принял утреннюю ванну, пил черный кофе, завтракал, шутил с камердинером Татариновым, но ощущение душевной тоски, навязчивое сном, не проходило. Безбровое, веснушчатое лицо зарытого в землю солдата навязчиво возникало в памяти.

Адъютанта, явившегося с утренним докладом, генерал слушал рассеянно. Подписывая бумаги, спросил, морщась, словно от зубной боли, про Пшеничникова и Прошкина:

— А как этих двух, наказали?

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

Перовский тихо побарабанил по столу золотым наперстком. (В 1812 году наполеоновский драгун отрубил ему палец, и он, скрывая увечье, носил на обрубке изящный наконечник).

— Как перенесли наказание?

— Отлично. Пшеничников выдержал полную тысячу. Прошкин потерял сознание после семисот ударов. Оба в госпитале. Лекарь гово...

— Больше не надо, — угрюмо прервал генерал.

¹ По имени города Лиможа, где эмалевое искусство достигло высокого совершенства.

Адъютант в недоумении поднял брови.

— Достаточно!

— Понимаю, ваше высокопревосходительство!

Вместе с казенными бумагами адъютант оставил три личных письма, два — пришедшие по почте и одно — доставленное с оказией.

Перовский узнал почерк сына и распечатал синий конверт. Алеша, юнкер артиллерийского училища, разжалованный в солдаты и сосланный на Кавказ, писал из госпиталя. Он сообщил о георгиевском кресте, полученном за отвагу в бою. Письмо было краткое, и какой именно подвиг совершил сын, отец не понял.

— Алешенька! — прошептал губернатор и почувствовал, как задрожали у него пальцы, державшие письмо.

Он перечитал несколько раз подряд скупые, размашистые строчки сына, перекрестился и снова поцеловал эмалевый портрет.

Второе письмо было от приятельницы — Анны Алексеевны Смирновой; почерк ее генерал знал хорошо, находясь с ней в постоянной дружеской переписке. Смирнова сообщала о последних днях жизни Жуковского, испытанного любимого друга:

«...Он умер 12 апреля, умер почти слепым, и, мне писала Наташа, перед смертью он часто вспоминал Вас и жалел, что не в состоянии был написать Вам несколько прощальных строк...»

Перовский долго сидел в тихой задумчивости, потрясенный неожиданным известием. Он любил Жуковского, и письмо Смирновой его сильно расстроило. Генерал достал шкатулку с личными бумагами. В плотном синем конверте хранились письма поэта и стихи, написанные очень давно. В дни молодости, живя в Анничковом дворце, они одновременно влюбились в красавицу-фрейлину графиню Самойлову и из-за нее поссорились. Ссора была непродолжительной: Жуковский пошел на самопожертвование и в знак примирения прислал тогда своему сопернику стихи. Перовский бережно хранил их — они напоминали ему о далекой счастливой молодости. И сейчас, взволнованный смертью друга, он перечитал посвященные ему строки:

Товарищ, вот тебе рука!
Ты другу вовремя сказался!
К любви душа была близка,
Уже в ней пламень загорался,
Животворитель бытия,

И жизнь отцветшая моя
Надеждой снова зацветала,
Опять о счастье мне шептала
Мечта, знакомец старины!..

Почти тридцать лет прошло с того дня, когда были написаны эти слова. Губернатор читал их с волнением и грустью и вспоминал молодого Жуковского. Он нашел последнее письмо поэта, посланное из Бадена в прошлом году. Оно было написано ощупью, по линейке, подложенной под руку: Жуковский на закате дней своих почти потерял зрение.

«Мой милый Перовский! Все, что графиня Толстая рассказывала о последнем времени твоей жизни, наполнило благоговением мое сердце. Несколько мгновений переменили направление твоей жизни. Понимаю вполне, что с тобой было, и если бы можно было в подобных случаях завидовать, сказал бы, что я тебе завидую. Кто провел несколько ночей, как ты, в чтении евангелия, перед самою присутствующею смертью в переборе прошедшего, и кто дружил, как ты, в эти минуты со смертью, тот получил самое желаемое, то, что мы никакими усилиями воли своей получить не можем, — получил опыт сердца».

Перовский долго пребывал в тихой неподвижности, вспоминая умершего друга. Новая утрата! Три месяца назад умер Гоголь — тоже старый друг. Чья теперь очередь? Его. «Всему свое время, и время каждой вещи под небом! — вспомнил он слова библейского мудреца. — Время рождаться и время умирать». Перебирая бумаги в шкапулке и думая о Гоголе, нашел его письмо, и потому, что оно было об Алеши и о Жуковском, прочитал:

«Я к вам давно хотел писать по поводу Алеши. Об этом, верно, вам сказывал F. Хотел писать к вам именно тогда, когда вы думали отправить его за границу; не оставляя этого намерения даже и тогда, когда ему сделалось лучше и когда вы решились оставить его в Петербурге; но всякий раз приходил в затруднение исполнить, видя, что потребны слишком умные и долгие разговоры, и, не будучи уверен в себе, могу ли я представить ясно и убедительно другому то, в чем уже убежден сам. Теперь уже решился, побуждаемый уже другим побуждением, сказать вам, хотя главное дело прямо в двух словах, откладывая всякое объяснение на после. Позаботьтесь о душевном, а не о телесном здоровье Алеши. Это ему слишком нужно.

Переговорите с каким-нибудь умным и опытным священником, который бы был при этом истинно христианской жизни, хотя, например, с Павским. Много есть таких глубоких тайн в душе человека, которых мы не только не подозреваем, но не хотим подумать, что и подозревать их надобно. Как бы ни был бесчувственен человек, как бы ни усыплена была его природа, в две минуты может совершиться его пробуждение. Нельзя даже ручаться в том, чтобы развратнейший, презреннейший и порочнейший из нас не сделался лучше и святее всех нас, хотя бы пробуждение случилось с ним за несколько дней до смерти. А поэтому, если вы предадитесь безнадежности или же отчаянию насчет Алеши, то этот грех будет сильнее всех грехов...

Ради бога, напишите мне хотя в немногих словах о душевном состоянии как Алеши, так и о вашем собственном. Это мне очень нужно.

Весь ваш, без всяких светских условий, кроме одних душевных
Гоголь.

Р. S.! Жуковский теперь утверждает, что во Франкфурте, и я с ним. Как бы было хорошо, если бы вы приехали сюда на два или на три месяца вместе с Алешей! Прожить нам всем вместе будет теперь слишком нужно. Душевный голос говорит мне, что мне удастся вам сделать какую-то услугу. Письмо адресуйте во Франкфурт на имя Жуковского. Его еще нет, но через две недели он переезжает.

Г».

Губернатор сложил письма Гоголя и Жуковского вместе и сунул в один конверт. Эти люди любили Алешу и тревожились за его воспитание и дальнейшую судьбу.

— Ах, Алеша, Алеша! — вздохнул Перовский и убрал шкатулку в секретный ящик письменного стола.

Генерал распечатал третий конверт, доставленный в Оренбург с оказией. Письмо было написано княгиней Мурзиной — женщиной, когда-то горячо и нежно любившей его. Перовский вспомнил короткий роман с ней и с удовольствием стал разбирать бисерный почерк.

Княгиня обращалась с просьбой помочь Плещеевой. Сын ее отбывает наказание в Оренбурге. Мать едет в этот город с намерением обратиться к генералу. Юноша наказан достаточно жестоко. Нельзя ли облегчить его печальную участь?

«Сделайте, дорогой Василий Алексеевич, это для меня,

в память нашей дружбы, — заканчивала письмо княгиня, — очень прошу вас. Мне жалко мать. Она так страдает и убита горем. Умоляю вас, как христианина, помогите ей».

Поэт Плещеев? Соучастник Петрашевского! Бледнолицый, светловолосый, очень высокий юноша с больными глазами, обвиненный в пропагаторстве коммунизма.

Перовский вспомнил пострадавшего. Исполняя обязанности генерал-аудитора, он, по велению императора, осудил молодых людей, замешанных в деле Петрашевского. Поэт во время следствия и на суде держался пристойно, никого не оговаривал и защищался с тактом. В чем были виноваты, да и вообще, были ли виноваты подсудимые, — ни Перовский, ни другие судьи не знали. Сотрудники Третьего отделения и тайной полиции, ведя наблюдение, как предполагал Перовский, превратили муху в слона, рассчитывая получить внеочередные награды. Если кто и был виноват тогда во всей этой чрезмерно раздутой истории, то более всего доносчик и провокатор Антонелли. Вот его Перовский с большим удовольствием отправил бы на виселицу.

И снова генерал вспомнил «Чоку», свои юные годы, тайное военное общество, когда он увлекался философией Руссо и республиканскими идеями. Юность, юность!

Поэт Плещеев!

Мать его подавала на высочайшее имя прошение о помиловании сына. Государь наложил резолюцию: «Приобщить к делу на усмотрение генерал-аудитора», что значило: на личное усмотрение Перовского... Генерал-аудитор и ходатайствовал о ссылке поэта на поселение...

Перовский долго сидел в кресле, предаваясь воспоминаниям. Он чувствовал себя больным и разбитым. Знойный оренбургский климат был губителен для его здоровья.

Когда в кабинет вошел камердинер Татаринов с сюртуком, Перовский сказал:

— Портрет перевесь в столовую.

— Слушаюсь!

Татаринов знал, о каком портрете шла речь.

— Алеша получил георгиевский крест! Ранен в бою.

— Орел! — восхитился камердинер.

— Произведен уже в офицеры.

— Даром не произведут. Значит, герой без всякой фальши.

Орел, орел... Губернатор одевался, не отрывая глаз от лиможской эмали. Алеша улыбался ему веселыми глазами, и генерал снова нахмурился. Выражение зеленоватых глаз у сына и у женщины, изображенной Брюлловым, было одинаковое.

СУЛТАН ИЛЕКЕЙ

Султан Илекей-Ирмухамед Касымов терпеливо ожидал в приемной, когда его позовут к генерал-губернатору. На прием он явился в сопровождении пожилого казаха с длинными висячими усами и молодого джигита. Казахи сидели на мягком бархатном диване с золочеными ножками, искоса поглядывая на закрытую белую дверь губернаторского кабинета.

В переднем углу приемной, возле окна, за маленьким столом щеголеватый адъютант с черными, словно нарисованными, усиками быстро писал, делая вид, что не обращает внимания на присутствующих. Два офицера прошли мимо казахов в соседнюю с кабинетом комнату. Они с любопытством оглядели Илекея. Султан сидел, опустив глаза на пестрый ковер с цветными узорами. Он отлично понимал, что Перовский сознательно выдерживает его в приемной подольше: русский губернатор хочет подчеркнуть свое могущество и унижить степного гостя.

В кабинете губернатора, обставленном с подчеркнутой роскошью, находились три человека: сам губернатор, капитан Дандевиль и казак Степан Лянгулов.

Перовский, одетый в военный сюртук, с георгиевским крестом в петличке, сидел за огромным письменным столом. Возле губернатора стоял в непринужденной позе капитан Дандевиль — офицер для особых поручений. Безукоризненно сшитый мундир отлично сидел на молодом капитане. Дандевиль был невысок ростом, строен, красив, имел правильные, приятные черты лица. В живых карих глазах его светился лукавый ум человека, уверенного в себе.

На письменном столе перед генералом лежало письмо, присланное из Франции два месяца назад ученым аббатом¹ Лянглау. Аббат просил Перовского помочь ему найти потомков родного дяди, взятого в плен в 1812 году. Неведомым путем до аббата дошли слухи, что капрал

¹ А б б а т — католический священник.

Жан Лянглау долгое время находился в Оренбургском крае. Перовский, зная имя ученого аббата по богословским книгам, отдал приказ разыскать потомков военнопленного француза. Сегодня губернатору и доставили под конвоем жителя Парижской казачьей станицы.

Бородатый казак с малиновыми лампасами стоял на вытяжку перед корпусным командиром, слегка выпучив испуганные глаза.

— Как тебя зовут?

— Степан Лягулов, ваше высокопревосходительство!

— Как отца звали?

— Иван.

— Сколько тебе лет?

— Тридцать восемь под Сретенье исполнилось.

— Братья и сестры есть?

— Нет.

— Ты знаешь, кто был твой отец?

— Сказывали, пленный француз.

Крутые брови Перовского разбежались, и он перевел глаза на капитана:

— Что вы скажете по сему поводу, Дандевиль?

Капитан быстро заговорил по-французски:

— Лягулов — это, несомненно, искаженное Лянглау. В станицах Париж, Бордо, Фершампенуаз, Марсель живут почти исключительно потомки пленных французских. Жан Лянглау и Иван Лягулов — это одно и то же лицо. А этот казак — родной сын Жана Лянглау и казачки Федосьи Пониткиной. Короче говоря, кузен парижского аббата! — с легкой улыбкой заключил он.

— Французской крови в нем совершенно не заметно, — так же по-французски отвечал губернатор. — Рожа у него разбойничья, страшнее, чем у Пугачева...

Перовский с недоумением повертел в руках письмо аббата.

— У тебя есть родственники за границей, — сказал он, обращаясь к казаку, — во Франции, на родине твоего отца.

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство!

— Аббат Лянглау — это по-нашему значит священник — твой двоюродный брат, хочет, чтобы ты приехал к нему в Париж. В настоящий Париж... Не в ваше казачье село, а в главный город Франции. Во французскую столицу.

Казак Лягулов смотрел на Перовского насторожен-

ным взглядом, словно ожидая с его стороны какого-либо подвоха.

— Понимаешь, что я говорю?

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— У тебя дети есть?

— Пятеро.

— Подумай о том, что я тебе сказал. Аббат пишет, что вышлет деньги на дорогу, если пожелаешь приехать.

Перовский показал казаку письмо, как бы в подтверждение своих слов.

— Ну, что же мы будем отвечать твоему брату?

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство!

— А кто же может знать?

Губернатор в задумчивости покрутил курчавый ус и сказал Дандевиллю:

— Виктор Деизидерьевич, закончите это дело завтра сами и доложите мне, а сейчас давайте займемся Илекем. Можешь идти, Лянгулов. Тебя завтра вызовем.

Кузен аббата Лянглуа, круто повернувшись на каблучках, покинул губернаторский кабинет. Капитан Дандевиль следом за ним вышел в приемную.

— Султан Илекей-Ирмухамед Касымов!

Три казаха поднялись как по команде.

— Его высокопревосходительство просит вас пожаловать к себе.

Илекей первым направился в губернаторский кабинет. Он шел по цветным узорам пушистого ковра, прижимая к груди шапку, украшенную орлиным пером. За ним следовали его спутники, почтительным видом своим подчеркивая, что они составляют почетную свиту султана.

При появлении Илекея губернатор поднялся и пошел ему навстречу. Они встретились посредине комнаты под бронзовой огромной люстрой, сиявшей граненым хрусталем.

— Здравствуй, Илекей! — Перовский дружелюбно протянул руку, сверкнув золотым наконечником на пальце. — Благополучен ли был твой путь?

— Мы доехали хорошо, — просто, но с достоинством ответил султан.

Губернатор подвел гостя к широкому кожаному дивану и жестом руки пригласил сесть.

Султан опустился на диван. Перовский сел рядом. Спутники Илекея остались около дверей.

— Скажи им, пусть они уйдут, — кивнул головой губернатор. — Нам надо говорить с тобой наедине.

Илекей сказал несколько слов по-казахски, и два сородича его в сопровождении капитана Дандевилья вышли из кабинета.

Перовский обратился к султану и стал внимательно разглядывать его богатое одеяние. Илекей был одет в легкий шелковый халат и шаровары малинового бархата с золотым шитьем. Великолепны были его зеленые сапоги ослиной кожи с окованными серебром закаблучьями и вздернутыми носками, на концах которых болтались кисточки. Поверх халата Илекей носил синий бархатный чекмень с косым воротом, обшитым узенькими галунами. На кожаном тисненном поясе висел кинжал. Голову султана украшала небольшая богато расшитая тибетейка.

Губернатор словно изучал Илекея, его наряд и широкоскулое бронзовое лицо, слегка попорченное оспой. Бывший опасный враг, провозгласивший себя ханом Малой Орды и доставивший Оренбургу немало хлопот, явился искать помощи и защиты у России.

Капитан Дандевиль вошел в кабинет и вопросительно посмотрел на губернатора.

— Садитесь. Виктор Дезидерьевич, — предложил Перовский, — и будем вместе разговаривать с султаном.

Он помолчал, вспоминая что-то.

— Ну, как, Илекей, хорошо рассчитался с тобой твой друг и покровитель хивинский хан Мухамед-Амин за верную службу?

Взвешивая каждое слово, Илекей медленно заговорил, не спуская глаз с лица Перовского.

— Хвост у лжи — не длиннее ладони. Я буду говорить правду. Дружишь с хорошим человеком — достигнешь цели, дружишь с дурным — наживешь срам. Он не друг мне.

— Сколько времени ты просидел у него в тюрьме?

— Три года.

Перовский сочувственно покачал головой.

— За что же он тебя наказал? Служил ты ему, кажется, добросовестно, усердно помогал грабить и убивать наших подданных, киргизов. Мы хорошо помним, что ты натворил осенью в 1847 году на Сыре вместе с хивинским беком Ходжа-Ниязом и султаном Джангазы Ширгазыевым. Кто тогда разорил торткаринцев и шомекеевцев и угнал у них весь скот? Кто бросал живых младенцев в воду? Кто

отрубил четырем старикам головы? Хивинские нукеры? А может быть, твои джигиты? Скажи!

Илекей молчал, опустив глаза.

— Забыл это нападение? К сожалению, оно не единственное. Мы знаем, что ты помог и сыну хивинского хана Рахманберды-беку в ноябре того же года ограбить чиклинские аулы в Кара-Кумах. Кто забрал в плен женщин, перерезал стариков и разбросал по степи убитых младенцев в урочищах Теректы и Каалмас? Кто тогда захватил около Алта-Кудук караван купца Деева из семидесяти пяти верблюдов? Кто взял в плен русских приказчиков Ивана Голицына и Якова Мельникова? Я до сих пор не знаю, хивинские нукеры или твои джигиты. Я знаю одно: у Рахманберды-бека было два помощника — хивинский бек Ходжа-Нияз и киргизский султан Илекей-Ирмухамед Касымов... Они втроем отвечают за невинную кровь детей, женщин и стариков...

Выражая свое недовольство, Перовский заходил по кабинету.

Неловкое молчание длилось несколько минут. Огромные часы в длинном узком шкафу-футляре со звоном пробили двенадцать раз.

— И после этих преступлений султан Илекей как ни в чем не бывало едет в Оренбург к русскому губернатору! — продолжил Перовский, испытующе глядя казаху в глаза. — На что рассчитывает султан?

Илекей подождал, желая услышать, какие еще обвинения выскажет губернатор, а потом заговорил медленно, обдумывая каждое слово:

— Палка бьет по телу, слово пронизывает кости. Что я скажу? Если человек вспоминает старое, — нехорошо. Старое было худое. Зачем о нем говорить? Когда люди дерутся, — кипит кровь. Когда кипит кровь, брат может убить брата. Когда идет бой, солдат не думает, что будет завтра. Разве губернатор — не военный человек? Вся степь знает имя Перовского. Он большой начальник и храбрый полководец. Не будем разговаривать как женщины. Будем разговаривать как мужчины. Тогда будет полезная беседа.

— Ты говоришь умно, — усмехнулся Перовский. — Русские умеют прощать обиды, если они твердо знают, что враг приходит к ним с повинной и просит прощения с искренним сердцем. Но чем ты докажешь свою искренность? Почему я должен тебе верить?

Густая краска залила смуглое рябое лицо Илекея. Почувствовав себя оскорбленным, он заговорил глухим голосом:

— Каждый уважающий себя мужчина прежде, чем выпустить слово из нижней части головы, должен пропустить его через верхнюю. Зачем губернатор напрасно обижает Илекея? Нехорошо! Какие нужны доказательства? Я бежал из тюрьмы от хивинского хана. Я пришел к русским. Я мог бы пойти в Коканд. Неужели русский губернатор думает, что Худояр-хан и Мусульман-Кул не были бы мне рады?

Перовский и Дандевиль обменялись быстрыми взглядами.

— А разве кокандцы не убили твоего отца Касыма? — напомнил капитан, внимательно следя за лицом султана.

— При нужде конь напьется и в удилах, при нужде перейдешь воду и в сапогах. Чего не забудет человек при нужде?

— Значит, и к нам тебя привела нужда?

— Метко сказавшему ничего не ответишь! — блеснула глазами Илекей. — Схватившийся за две лодки обязательно утонет. Русская лодка надежнее, чем кокандская. Я хочу быть в дружбе с русскими. Что еще хочет знать губернатор?

Перовский одобрительно кивнул головой. Илекей продолжал:

— Мой дед, султан Булякай, был сыном султана Ирали. А Ирали был сыном Абулхаир-хана. Разве губернатор забыл, что Абулхаир-хан привел в русское подданство казахов Малого и Среднего Джузов?

— Нет, не забыл. Абулхаир-хан поступил очень мудро и за свою заслугу получил достойную награду. Но я все же хочу знать, чем ты докажешь искренность своего предложения к нам, султан?

Илекей не отвечал. Губернатор почесал золотым наколочником седой висок и продолжал:

— Абулхаир-хан был нашим врагом. Он подбирался под Казань, даже сжег наш город Новошешминск, но, когда раскаялся, доказал это делом. Он перешел в русское подданство сам и привел с собою сотни тысяч киргизов.

— Пусть скажет губернатор, что я должен сделать, — медленно произнес султан.

Перовский заговорил не сразу.

— Я тебе это скажу, Илекей. Мое требование: ты дол-

жен принести торжественную присягу на верность России. Затем я тебе настоятельно советую уйти с Куван-Дарьи и кочевать на прежних своих местах — в урочище Казады, Арык-Балык и Тагань-Бергенъ. Вот и все, чего я хочу от тебя.

— Шуба, скроенная по совету друзей, никогда не будет мала. Спасибо за совет! — кивнул головой султан. — Я сделаю все так, как хочет губернатор. Пусть он увидит, что в сердце Илекея нет вражды к русским. Я перейду на правый берег Сыра.

Перовский, видимо довольный ответом, протянул султану руку:

— Отлично! Тогда мы забудем старое, Илекей, и никогда его не вспомним больше.

— Хорошее слово — половина счастья.

— Будешь служить верой-правдой — не забуду тебя. Но если ты нарушишь свое обязательство...

Синие глаза Перовского взглянули на Илекея из-под густых бровей так, словно острый кинжал кольнул султана в сердце.

— Отказ от своих слов — смерть для мужчины. Разве губернатор считает Илекея за женщину?

Перовский прошелся по кабинету и остановился у окна. Он увидел, как к подъезду его дома подкатила коляска и пожилая дама в лиловом бурнусе направилась к парадной двери.

Илекей понизил голос и таинственно произнес:

— У Худояр-хана плохие дела. Совсем плохие. Он боится, что русские пойдут на Ак-Мечеть. Якуб-бек ждет помощи, но Худояр воюет в Ташкенте. Помощь к нему не придет. Что если губернатор снова пойдет на Хиву? Я соберу пять тысяч джигитов. Моя семья томится в Хиве.

— Твою семью мы выручим, — сказал Перовский и обратился к Дандевилу: — Виктор Дешидьеревич, составьте сегодня же на имя хана письмо. Пусть Мухамед-Амин знает, что семья Илекея отныне находится под русским покровительством.

— Жена, мать и дети, — перечислял султан.

— Хорошо: жена, мать и дети.

— Нужно собирать джигитов? — осторожно спросил Илекей.

— Обязательно, чтобы охранять киргизские аулы от

кокандцев и хивинцев. Начальнику Аральского укрепления я дам указания.

Перовский для вежливости поинтересовался, как султан провел в хивинском плену три года и как ему удалось бежать из тюрьмы. Лицо Илекея потемнело. Он начал рассказывать о пережитых несчастьях. Губернатор слушал с удовольствием, чувствуя, что Илекей говорит искренно. В сердце султана кипела ненависть к хивинскому хану. Она должна принести свои плоды в нужное время.

Султан закончил рассказ. Губернатор взглянул на часы. Илекей поднялся.

— Мы еще с тобой увидимся и поговорим, — сказал ему на прощанье Перовский, провожая до дверей.

Султан Илекей с достоинством вышел из кабинета. В приемной сидели два казаха его свиты и пожилая дама в лиловом бурнусе.

Розовощекий адъютант с черными, словно нарисованными, усиками кивнул даме головой и прошел в кабинет губернатора.

Он вернулся через минуту и сказал с легким полупоклоном:

— Госпожа Плещеева, пожалуйста к его высокопревосходительству.

МАТЬ

Елена Александровна Плещеева, узнав о заточении сына в Петропавловскую крепость, начала изыскивать все способы, чтобы найти защиту у «самого государя». Она надеялась, что знаменитые предки, большие связи (в молодости Плещеева была фрейлиной при государыне) и царская милость помогут ей выручить Алешу из беды. Вину сына она не могла понять. Мальчик прислал из Москвы в Петербург письмо критика Белинского к писателю Гоголю, а Алешины друзья обсуждали его. Конечно, читать чужие письма не деликатно. Но можно ли за это мучить молодых людей в тюрьме и сдавать благородных дворян в солдаты?

Елена Александровна никак не могла поверить, что расправа с молодежью была учинена обожаемым ею государем. Император — благородный человек! Его обманули жандармы — Орлов и Дубельт. После несчастья, приклю-

Плещеев следил за измученным лицом матери.

Неожиданная догадка осенила поэта, когда его взгляд остановился на ровной серебряной пряди в черных волосах Елены Александровны.

«А ведь она больна! — с отчаянием подумал он. — У нее мания преследования...»

КНИЖНЫЕ РАРИТЕТЫ ПЕРОВСКОГО

Узнав, что командир корпуса разрешил Плещееву свидания с матерью на целый месяц, низшее начальство резко изменило свое отношение к опальному поэту. Ротный командир дал понять, что Плещеев должен являться лишь на вечернюю поверку, а ночевать, ежели пожелает, может дома.

Все дни мать и сын проводили вместе, вспоминая безоблачную жизнь, которой жили они раньше. Срок наказания близился к концу, можно было начинать строить планы на будущее. Почти три года уже отдано казарме. Через полтора года можно будет снять солдатскую шинель и вновь вернуться в далекий, милый Петербург.

— Бог с ней, со столицей, Алешенька, — сказала мать. — В столицу тебя не пустят. Проживем тихо и в Костромском. По крайней мере, там не будет тайных соглядатаев.

Сын начал было возражать, но в эту минуту к дому подскакал верхом на лошади молодой розовощекий поручик с черными усами. Ловко соскочив с седла, он взбежал на крыльцо и постучал в дверь.

— Никак, меня спрашивают, — забеспокоилась Елена Александровна, прислушиваясь к голосам, доносившимся из прихожей.

Но офицер приехал не к матери, а к сыну. Плещеев, увидев адъютанта Перовского, вытянулся в струнку.

— Простите, сударыня, я к вашему сыну по поручению его высокопревосходительства, командира корпуса, — сказал поручик и обратился к Плещееву: — Его высокопревосходительство приглашает вас к себе на квартиру сегодня вечером к семи часам. Потрудитесь быть вовремя.

Офицер лихо щелкнул шпорами и удалился так же стремительно, как и появился.

¹ Раритеты — редкости.

— Алешенька! — сказала Елена Александровна, покрывая грудь свою мелкими крестиками. — Алешенька!

Плещеев был тоже взволнован. Приезд адъютанта Перовского с вызовом на дом смутил его. Он терялся в догадках: что бы это могло означать?

— Алешенька! — снова произнесла Елена Александровна и расплакалась. — Услышал всемогущий мои молитвы...

Она долго и суетливо крестилась, вытирая слезы, обильно струящиеся по щекам.

— Будь осторожен, дружок мой! — напутствовала мать сына перед уходом. — Говори с оглядкой, а лучше молчи. Мы не знаем, зачем он тебя зовет. Может быть, есть приказ от государя проникнуть в твои сокровенные мысли. Следи за собой. Враги хитры и коварны. Они всюду раскидывают свои сети в самых неожиданных местах. Лишнее слово может погубить навек. Ты и так пострадал достаточно. Будь осторожен!

Плещеев явился в дом губернатора точно в назначенный час, минута в минуту. Камердинер Татаринов проводил его в библиотеку — светлую, длинную комнату, сплошь заставленную по стенам книжными шкафами и резными полками эбенового дерева.

— Его высокопревосходительство просили вас обождать.

Плещеев неуверенно сел в кресло. На круглом столе лежали в беспорядке петербургские и заграничные журналы. Плещеев увидел хорошо знакомую ему книжку «Отечественных Записок». В этом номере журнала была помещена статья поэта Валериана Майкова, посвященная разбору книги плещеевских стихов. Видимо, кто-то недавно просматривал журнал и интересовался именно этой статьей — атласная закладка лежала как раз на одной из страниц рецензии.

Плещеев отлично помнил статью Майкова, но склонился над столом и (в который раз!) перечитал с удовлетворением вновь:

«Г-н Плещеев нередко говорит в своих стихах о самом себе; но это не плаксивые жалобы на судьбу, — нет, это вопли души, раздираемой сомнением, глухая и упорная битва с действительностью, безобразие которой глубоко постигнуто поэтом и среди которой ему душно и тесно, как в смрадной темнице. Он хотел бы выломать железные ре-

шетки, отворить двери и окна, чтобы, пропустив в это жилище мрака и зловония живительный луч солнца, благоуханную струю свежего воздуха, дать отогреться и вздохнуть вольной грудью своим страдающим, изнеможенным и бессильным братьям, — но он один... Один посреди этого хаоса личных интересов и эгоизмов, сталкивающихся и путающихся между собою и гулом борьбы своей заглушающих его голос... Но голос его не слабеет; изнемогая в борьбе, но далекий от того, чтобы уступить, бесславно бежать с поля битвы, он восклицает к своим друзьям:

Вперед! Без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!

В том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, г. Плещеев — бесспорно, первый наш поэт в настоящее время».

В открытом шкафу стояли книги в дорогих сафьяновых переплетах с золотым тиснением. Среди них Плещеев увидел хорошо знакомый ему «Словарь иностранных слов», изданный Петрашевским. Первый русский пропагатор фурьеризма, выпуская этот лексикон, коварно обманул николаевских цензоров. Объясняя российскому читателю неологизмы, он попутно знакомил Россию с идеями социализма и коммунизма. Все статьи и заметки писались для разъяснения взглядов Фурье, и лексикон явился своеобразной хрестоматией социалистического учения. Цензоры разобрались в этой хитроумной книге с опозданием (их смутило верноподданническое посвящение составителями своего труда его высочеству великому князю); когда же разобрались толком, опасную книгу немедленно изъяли и предали сожжению. Но Перовский, видимо, отлично понимая толк в редких книгах, сумел сберечь лексикон Петрашевского.

Плещеев вынул тоненькую книжечку в сафьяновом переплете, стоявшую рядом со словарем, и вздрогнул от неожиданности: в его руках находилась рукопись письма Белинского к Гоголю, тот самый список, который он, Плещеев, посылал из Москвы Достоевскому! Было совершенно непонятно, каким образом письмо из Третьего отделения попало сюда, на книжную полку в библиотеку Перовского.

Плещеев дрожащими пальцами перелистывал переплетенную рукопись, страничку за страничкой. Он нашел

строчки, когда-то подчеркнутые им в Москве, и перечитал их:

«...Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, — права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страна, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Шешками, Палашками; страна, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей!»

Плещеев оглянулся и осторожно поставил рукопись знаменитого письма на прежнее место. Он начинал догадываться, каким образом письмо очутилось здесь. Генерал-аудитор, большой любитель литературы и книжных раритетов, без особого труда мог изъять в личную собственность документ из обширнейшего следственного материала. Видимо, он не удержался от соблазна приобрести для своей библиотеки и нашумевшее письмо Белинского к Гоголю, именно тот список, который имел касательство к громкому политическому процессу петербургских литераторов.

Перовский — Плещеев заметил это — расставлял книги в шкафу в определенном порядке: рядом с письмом Белинского стояла книжка ежемесячного журнала за декабрь 1849 года. В официальной части этого номера на первой странице было напечатано правительственное сообщение о деле Петрашевского и его друзей. Плещеев быстро пробежал строки, набранные жирным шрифтом:

«Пагубные учения (социалистов), породившие смуты и мятеж по всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве.

Но в России, где святая вера, любовь к монарху и преданность престолу основаны на природных свойствах народа и доселе хранятся непоколебимо в сердце каждого, только горсть людей, совершенно ничтожных, большею частью молодых и безразличных, мечтала о возможности попрасть священнейшие права религии, закона и собственности. Действия злоумышленников могли бы только тогда получить опасное развитие, если бы бдительность правительства не открыла зла в самом начале.

По произведенному исследованию обнаружено, что служивший в Министерстве иностранных дел титулярный советник Бутаевич-Петрашевский первый возымел замысел на ниспровержение нашего государственного устройства с тем, чтобы основать оное (на началах социализма и коммунизма) на безначалии. Для распространения своих преступных намерений он собирал у себя в назначенные дни молодых людей разных сословий...»

Плещеев обратил внимание на две рукописных вставки. Аккуратным, четким почерком на полях журнала были написаны слова: «социалистов» и «на началах социализма и коммунизма». Внизу страницы тем же старательным почерком дана была пояснительная сноска: «Слова, вычеркнутые из первоначального печатного текста Его Величеством».

Поэт понял: царь побоялся упоминания слов, способных заразить его верноподданных опасным вольнодумием.

— Богдыхан! — прошептал Плещеев с презрением и поставил книжку журнала на прежнее место.

Со стены из широкой золоченой рамы смотрел на него холодным, высокомерным взглядом Николай Первый. Как поэт ненавидел этого страшного человека, превратившего Россию в казарму!

— Богдыхан! — снова прошептал Плещеев. — Богдыхан!

На открытой книжной полке он увидел и томик сочинений Антония Погорельского — родного брата Перовского. Поэт взял книгу и на первой странице повести «Печальные последствия необузданного воображения» прочитал авторское посвящение. А рядом с книгой Погорельского стоял томик «Повестей», изданных Пушкиным, и его же сочинение «История пугачевского бунта». На титульных листах обеих книжек Плещеев увидел чувствительные над-

¹ Богдыхан — титул китайского императора. Из предосторожности петрашевцы называли так Николая Первого.

писи, сделанные рукой великого поэта. Пушкин, вспоминая оренбургскую встречу, именовал Перовского «милым другом».

Пушкин и Перовский! Неужели великий свободолюбивый поэт мог действительно быть другом этого жестокого человека, осудившего по воле царя невинных людей?!

И Плещеев вспомнил свою первую встречу с Перовским. Окруженный генералами, Перовский сидел на высоком кресле, щеголяя казачьей формой. Белая папаха, — это почему-то запомнилось ярче всего, — лежала перед ним на столе. Небольшой покрытый зеленым сукном столик, похожий на церковный аналой, стоял посредине зала. Возле него находился суровый полковник с владимирским крестом на шее. На столике лежало пухлое дело в синей папке.

— Подойдите! — сказал Перовский Плещееву.

Аудитор¹ раскрыл папку и стал читать невнятным голосом, очень торопливо, словно боясь, что его прервут. Чтение длилось несколько коротких минут.

Генерал Перовский поднял руку, и Плещеев увидел золотой наперсток на пальце. Как и белая папаха, он врезался в память.

— Подпишите! — сказал Перовский и указал на другой аналой, возле стены.

Плещеев подошел к нему и увидел стопку бумаги, нарезанной четвертушками.

— Возьмите, прочитайте и подпишите!

Плещеев взял верхний лист и прочитал:

«Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что ничего не могу привести в свое оправдание».

— Подпишите! — еще настойчивее повторил Перовский, словно угадав недоумение подсудимого.

Поэт в нерешительности взял перо и покорно написал свою фамилию.

...Вот эта картина судилища и вспомнилась теперь Плещееву, когда он в ожидании прихода хозяина-библиомана разглядывал его книжные сокровища.

Перовский появился неожиданно, бесшумно ступая по мягкому ковру. Поэт быстро поднялся и вытянул руки по швам.

— Плещеев! — Перовский быстрым пронизательным взглядом оглядел его с ног до головы и дружелюбно протянул руку. — Очень рад вас видеть.

¹ Аудитор — секретарь военного суда.

Генерал опустился в вольтеровское кресло и любезно подвинул гостю изящный резной ящик с сигарами:

— Прошу.

— Благодарю вас.

Опальный поэт с нескрываемым любопытством рассматривал генерала. Он видел его третий раз в жизни: в столице, на суде, и вторично — в Оренбурге, во время смотра. Но обе встречи были на расстоянии и мимолетны. Сейчас же Перовский сидел перед ним, и Плещеев имел возможность как следует разглядеть все сильного вельможу, обладавшего, по слухам, неограниченным влиянием на императора. Говорили не без основания, что этот человек в молодости был красавцем. Разбегающиеся с крутым изломом брови, резко очерченный рот, нос с легкой горбинкой и упрямый подбородок свидетельствовали о властном характере губернатора. Густые, курчавые волосы Перовского, некогда черные, как смоль, были дымчатыми от обильной седины, приобретенной во время Хивинского похода. Синие живые глаза, ослепительной белизны зубы и курчавые усы несколько молодили генерала, но все же не скрадывали его почти шестидесятилетнего возраста.

Сообщив поэту печальную весть о смерти Жуковского, Перовский продолжал медленным, тихим голосом:

— Вот кто владел в совершенстве музыкой русской речи. По звучности и мелодичности стиха он уступал только Пушкину и Лермонтову. Не правда ли? А как бесподобно поэт перевел «Одиссею», давши нам почувствовать вечную красоту Гомера!

— Пушкин назвал Жуковского гением перевода, — вспомнил Плещеев.

Занятый своими мыслями, губернатор продолжал:

— Мы были друзьями. Я помню последнюю встречу с ним и с Гоголем за границей. Давно это было, а кажется, словно вчера. Как бежит время! А вот и Николая Васильевича уже нет, и Жуковского не стало... Ушли почти вместе, в один год. Большие были люди, глубокого сердца.

Перовский погрузился в задумчивость и забыл о своем собеседнике. Плещеев почувствовал некоторую неловкость.

— Если не изменяет мне память, вы пострадали за письмо Белинского к Николаю Васильевичу?

— Да, я послал переписанный мною текст письма из Москвы в Петербург, — ответил, настораживаясь, Плещеев.

— Гоголь — наша национальная гордость, — сказал

Перовский, пропуская мимо ушей слова Плещеева. — Мы еще не оценили по-настоящему утрату этого великого писателя. Думаю, не всем ясна и потеря Жуковского для нашей поэзии. Мельчает русская поэзия, мельчает... Вот господин Майков пишет (он кивнул на книжку «Отечественных Записок»): после смерти Лермонтова — вы первый поэт в России. Стар я стал, не понимаю многих новых вещей. Но убежден глубоко: нельзя на поэтический язык перекладывать публицистические статьи из газет и журналов. Проза отнюдь не станет поэзией, если даже изложить ее ритмически и подыскать гладкие рифмы...

«Об этом предмете можно спорить», — хотел было возразить Плещеев, но вовремя удержался, вспомнив, что пришел он не на пятницу Петрашевского.

А просвещенный губернатор, попав на любимого конька, пространно заговорил о русской литературе, которую отлично знал и по-своему любил.

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН

Во время беседы Перовского с Плещеевым пришли еще три гостя: капитан Виктор Дезидерьевич Дандевиль (поэт сразу признал в нем офицера, производившего допрос кокандского шпиона) и востоковеды Григорьев и Вельяминов-Зернов. Они ничуть не удивились, увидев в доме корпусного командира рядового солдата. Губернатор допускал к себе в дом ссыльных, правда, с очень большим выбором, исключительно людей выдающихся и примечательных. О том же, что Плещеев отбывает наказание в Оренбурге, Дандевиль и ученые ориенталисты, надо полагать, были осведомлены.

— Познакомьтесь, господа, — представил Перовский. — Алексей Николаевич Плещеев. Литературное имя вам, вероятно, хорошо знакомо?

— Да, разумеется! — мягким голосом произнес Дандевиль, с любопытством оглядывая Плещеева. — Очень рад познакомиться.

Молодой, смуглолицый, невысокого роста капитан сиял подчеркнутой чистотой, щеголяя особым изяществом прекрасно сшитого мундира. Слегка выющиеся каштановые волосы его разделял безукоризненный пробор. Серые, чуть

насмешливые глаза Дандевилья смотрели на поэта с покровительственной приветливостью.

— Имел удовольствие читать вашу прозу и стихи, — сказал Григорьев, высокий, широкоплечий господин в вицмундире чиновника. — Хорошие стихи. Сразу запомнились.

Плещеев учтиво поклонился.

— Слышал, что вы здесь, — продолжал Григорьев, заметив, что Перовский удалился в соседнюю комнату. — Имел даже намерение вас разыскать, но, скажу честно, — он оглянулся на дверь, за которой скрылся губернатор, и слегка понизил голос, — счел это не совсем тактичным... Вы, конечно, понимаете меня, что я имел в виду? А сейчас очень рад, что счастливый случай дал мне приятную возможность познакомиться с вами... Не удивляйтесь, я сам — журналист. Правда, не одного с вами лагеря...

«Григорьев! Григорьев!» — повторял мысленно Плещеев, стараясь вспомнить, под какими статьями и где он встречал эту фамилию.

И словно догадываясь о его мыслях, востоковед сказал:

— Подписывался я частенько и псевдонимами Изафети Маклуб и Мирза Мелик. А писал преимущественно по вопросам истории, археологии, географии и этнографии...

— Да-да, — вспомнил Плещеев, — читал ваши статьи в «Северном обозрении», «Сыне отечества», «Северной пчеле», «Журнале Министерства народного просвещения».

— Совершенно верно. Печатался там...

Плещеев с любопытством смотрел на Григорьева. Востоковед понравился ему сразу и открытым русским лицом и простотою обращения.

Пока происходил этот разговор, Дандевиль, ходивший возле книжных шкафов, взял с полки журнал и, перелистав страницы, сказал, обращаясь к Плещееву:

— А вот вам рецензия на замечательный труд Василия Васильевича. Полюбопытствуйте, как оценивает его критика.

И он указал статью, напечатанную мелким шрифтом и отмеченную на полях карандашом, видимо, Перовского.

«Статья «О куфических монетах, находимых в России» принадлежит к числу лучших и наиболее ценных трудов В. В. Григорьева. В ней он представил, на основании открытых кладов восточных монет, несколько выводов о гражданственности древней Руси до возникновения Русского государства по летописным памятникам. Со времени по-

явления этой статьи никто из нумизматов или историков не подвинул вопроса дальше; хотя материал для него значительно расширился; никто не применил в такой полноте нумизматические факты к объяснению исторических вопросов, как сделал это В. В. Григорьев. По оригинальности приема и самостоятельности метода исследования — заставить говорить самые монеты — труд этот является единственным в своем роде в нашей богатой нумизматической литературе».

Прочитав рецензию, Плещеев вернул книжку журнала Дандевиллю. Капитан положил ее на прежнее место и поинтересовался:

— А как дела, Василий Васильевич, с монетами хореزم-шахов, что хранятся в кабинете Неплюевского корпуса? Вы, кажется, говорили, что в числе их есть неизвестные?

— Есть-то есть, да Василий Алексеевич загрузил меня работою по горло, и мне совершенно некогда заниматься нумизматикой, — с огорчением ответил Григорьев. — Но рано или поздно улучу время и все же опишу их.

Обратившись к Плещееву, востоковед пояснил:

— Монеты эти найдены недавно в русле Сыр-Дарьи одновременно с значительным числом бактрианских. Но бактрианские проржавели до того, что ничего не прочтешь на них... Такая досада!

Из библиотеки гости перешли в столовую, ярко освещенную десятком жирандолей.¹ Здесь сидел морской офицер, внимательно наблюдавший, как Татаринов, священнодействуя, расставлял на столе бутылки с французскими ярлыками. Перовский перенес в Оренбург, на границу Азии, петербургские привычки: вина он выписывал из Парижа и Бордо.

— Знакомьтесь, господа! — сказал губернатор. — Плещеев — поэт... А это наш Аральский Колумб, открыватель архипелагов.

Морской офицер с эполетами капитан-лейтенанта, взглянув на Плещеева с любопытством и крепко стиснув его руку, назвал свою фамилию:

— Бутаков.

В больших серых глазах моряка светилось ясное спокойствие души. Не сводя взгляда с Плещеева, Бутаков стал навтыяжку перед губернатором.

¹ Ж и р а н д о л ь — большой украшенный фигурами подсвечник для нескольких свечей.

«Где я его видел?» — подумал Плещеев, разглядывая веснушчатое, открытое лицо моряка с упрямым квадратным подбородком, и вдруг вспомнил: Аральский Колумб возглавлял диковинный караван, перевозивший корабль по улицам Оренбурга.

— Ну, как ваши успехи? — спросил Перовский, обращаясь к моряку. — Скоро в путь?

— Караван отправляю через неделю, как подойдет антарцит. Сам задержусь немного дольше.

— Чудесно. Значит, я вас увижу у себя на кочевке? Приезжайте отдохнуть.

— Благодарю вас!

— За мной никаких долгов перед вами, кажется, нет? Все, что нужно, я подписал.

— Если разрешите, еще раз напомним о Шевченко, ваше высокопревосходительство.

Крутые брови Перовского стремительно сошлись. Он нахмурился и заговорил с раздражением:

— Сущая беда мне с господами литераторами. Набедокурят в столицах, а после жалуются, что им в казарме тяжело. Казарма — не редакция и не английский клуб. Не надо этого забывать, господа.

Синие глаза генерала задержались на Плещееве, а стремительные брови заняли прежнее положение.

— Ваше высокопревосходительство! — в голосе Бутакова зазвучали настойчивые ноты. — Как начальник Аральской экспедиции я могу засвидетельствовать, что Шевченко, находясь в ней, принес огромную пользу российской науке при зарисовке берегов Аральского моря. Поведение его было безукоризненным. Чувство простой справедливости заставляет меня напомнить вам о тяжелом положении человека, бывшего моего подчиненного.

— Вы, должно быть, малоросс, Бутаков? — в глазах губернатора засветилась ирония.

— Нет, я русский.

— У Шевченко и без вас чересчур много защитников, земляков. Они мне все уши прожужжали. Полагаю, что преувеличивают его бедствия!

— А вы проверьте, ваше высокопревосходительство, ежели сомневаетесь.

— Хорошо, я дам распоряжение коменданту Ново-Петровского укрепления майору Ускову. Пусть сделает, что можно.

— Благодарю вас, ваше высокопревосходительство!

За большой круглый стол, сервированный со столичной роскошью, сели: хозяин дома, капитан Дандевиль, востоковеды, опальный поэт и ученый моряк, исследователь Аральского моря. Плещеев чувствовал себя в новом обществе очень неловко. За два с половиной года солдатской жизни он отвык от людей своего круга, а положение осужденного человека без всяких прав усугубляло его смущение. Он сидел молча, почти не пил и, скучая, разглядывал большой портрет красивой женщины, висевший против него на стене.

«У нее великоват рот, — размышлял Плещеев, — и все же она настоящая красавица. Какие замечательные глаза! Интересно, кто эта женщина?»

Перовский сообщил гостям о смерти Жуковского, снова вспомнил Гоголя, а потом заговорил об Алеше. Все (за исключением Плещеева) знали, что единственный сын генерала был пьяница и дебошир, что он на положении рядового солдата отбывал ссылку в горах Кавказа. Все знали также, что генерал безумно любил непутевого сына. В последние дни он всем рассказывал о производстве Алеши в офицеры и о награждении его георгиевским крестом.

Перовский находился в хорошем расположении духа, а в такие минуты он обычно любил вспоминать войну 1812 года и свое участие в ней. Зная слабую струнку генерала, гости дипломатично завели разговор о Наполеоне и его маршалах.

— Да, видел я прославленного маршала Даву, — говорил Перовский, обращаясь преимущественно к Плещееву. — Он меня чуть не расстрелял как шпиона, когда Наполеон Москву занял. Нервный был человек... Благодаря ему я такую пережил Одиссею, что и посейчас не пойму, как уцелел в то страшное время. Забрали меня французы в плен и погнали полураздетого через всю Европу во Францию. Помню, как только миновали мы заставу, конвойный солдат отнял у меня сапоги. Пришлось шагать босыми ногами по замерзшей грязи, пока нам не встретились два мужика. Один из них нес за спиной запасные лапти. Сторговались мы с ним за кусок хлеба, обул я ноги и, счастливый своим приобретением, догнал голову колонны. Шагаю поблизости от французского офицера и вдруг слышу ружейный выстрел. А минуту спустя к офицеру подходит унтер-офицер и спокойно докладывает, что он пристрелил одного из плен-

ных. Я не поверил своим ушам вначале. Обращаюсь к офицеру и прошу объяснить, в чем дело. А он мне вежливо отвечает: «Я имею письменное повеление пристреливать пленных, которые отстанут от хвоста колонны более пятнадцати шагов». И добавляет с вежливой учтивостью лично мне в утешение: «Господ офицеров велено, пристреливши, хоронить!»

Перовский покусал курчавый ус, оглядывая гостей. Все слушали с почтительным вниманием. Рассказчик продолжал:

— Я ответил ему, что никто из русских офицеров не станет особенно настаивать на похоронах, и объявил, что мы избавляем его от лишнего труда... Однако, признаюсь, сделанное открытие не совсем мне понравилось, ибо боль в ногах напоминала мне о возможности быть расстрелянным. Я до сих пор помню ужасные выстрелы, лишавшие нас товарищей. Несчастный пленный, чувствуя, что силы его покидают, прощался с друзьями и понемногу отставал. Все проходили мимо него, стыдливо опустив глаза. Один конвойный солдат оставался при бедняге и пристреливал его.

Генерал отпил из граненого бокала несколько глотков вина и посмотрел на Плещеева с таким видом, словно хотел сказать ему: «Что твоя Петропавловская крепость и твоя ссылка по сравнению с перенесенными мною испытаниями!» Поставив бокал на стол, он продолжал рассказывать:

— Мне случилось видеть старого солдата, упавшего на дороге от усталости. Француз, оставшийся пристрелить его, три раза прикладывал дуло своего ружья к голове несчастного, три раза спускал курок — и каждый раз ружье давало осечку. Наконец, он ушел и прислал другого, у которого ружье было исправнее...

— Это ужасно! — воскликнул поэт, внимательно слушавший рассказ Перовского, и густо покраснел, ощутив на себе взгляды гостей.

— Да, война — не поэзия, Плещеев! — сказал губернатор и поднял свой бокал. — Почему вы не пьете? Это чудное вино. *A votre santé!*¹

Плещеев не успел ответить, как в столовую вошел Татаринов.

¹ За ваше здоровье!

— Ваше высокопревосходительство! Там адъютант... По срочному делу.

— Ну, что еще? — поморщился губернатор.

Он кивнул головой. Татаринов исчез за дверью, и в ту же секунду в комнату вошел розовощекий адъютант с черными, словно нарисованными, усиками.

— Простите, ваше высокопревосходительство! Пришла эстафета от полковника Бларамберга...

— Ну?

— Отряд возвращается из Ак-Мечети.

Перовский изменился в лице. Глаза его заматали молнии. Он медленно поднялся.

— Какой черт приехал от Бларамберга? — генерал задышался от приступа гнева.

— Капитан Шкуп. Он здесь.

Не обращая внимания на гостей, губернатор разразился самой грубой, площадной бранью. Вzbешенный и разгневанный, он быстро заходил по комнате, яростно сжимая кулаки. Притихшие гости сидели недвижно. Когда первый порыв гнева прошел, Перовский произнес глухим голосом:

— Простите, господа. Я должен прервать ужин.

Аральский Колумб поднялся первым. За ним Плещеев и востоковед Григорьев. Вельяминов-Зернов смущенно оглядывался по сторонам.

— До свиданья, господа! — сказал Перовский, направляясь в кабинет. — Капитан Дандевилль, вы мне будете нужны.

Плещеев сделал общий поклон и направился к двери.

— Идемте вместе, — шепнул, нагоняя его, Бутаков.

Камердинер Татаринов проводил гостей до прихожей. Здесь перед огромным трюмо наводил стрелки темно-русых усов низкорослый черноволосый офицер с кривыми ногами кавалериста.

— Это вы нам испортили ужин, Шкуп? — сказал моряк, дружески хлопнув капитана по плечу.

— Алексей Иванович! Какими судьбами? Говорили, вы в Швеции.

— Был и вернулся. Везу пароход на Арал... Скажите лучше, что случилось?

Офицер покосился на Плещеева и многозначительно шепнул:

— Бларамберг возвращается из Ак-Мечети.

— Большие потери?

— Изрядные.

Розовощекий адъютант с черными усиками вышел в прихожую.

— Капитан Шкуп! Пройдите к его высокопревосходительству.

— Я остановился у Алексея Ивановича, — сказал моряк. — Заходите, как освободитесь. Водки выпьем.

— С полным удовольствием! — кивнул капитан Шкуп и, оправляя португезу, направился за адъютантом.

— Ну, пошли, Алексей Николаевич! — повернулся Бутаков к Плещееву.

Морской офицер и подтвержденный солдат спустились вместе по широкой лестнице, устланной мягким ковром, и вышли на улицу.

— Как вам нравится генеральское поведение? — заговорил Бутаков. — В переводе на русский язык это означает, что любезный хозяин вытолкнул нас просто в шею. Вот вам и просвещеннейший европеец! Поскоблите его чуть-чуть, и такая азиатская рожа проглянет, что впору на нее натянуть штаны.

Бесцеремонность Перовского оскорбила и Плещеева, но он воздержался от ответа и осуждения, вспомнив наставления матери.

— А ведь вас Шевченко вспоминал как поэта! — вновь заговорил моряк. — Интересный он человек! Мне его страшно жаль. По слухам, в Ново-Петровском укреплении, когда там комендантовал капитан Потапов, ему было очень тяжело. Сейчас легче, но все же обстановка, согласитесь, безрадостная. Не знаю, выполнит Перовский свое обещание или нет. Я, по совести сказать, ему не очень доверяю: есть горький опыт на сей счет. Генерал — человек настроения и капризен, как нервная дама. Для Аральской экспедиции он, вообще говоря, много сделал, но иной раз пустяка от него не добьешься. Упрется, разбушует — и ни в какую!.. Видели, как он бесновался, когда насчет Ак-Мечети узнал? Я думал, родимчик с ним приключится.

— А что случилось под Ак-Мечетью?

Бутаков помолчал в некотором раздумье и ответил:

— Перовский послал отряд полковника Бларамберга с приказом захватить крепость. Дело в том, что ак-мечетский комендант Якуб-бек мешает работать нашей ученой экспедиции, не пускает ее на Сыр. Надо было проучить кокандцев,

но, чувствую, проучили не мы их, а они нас, и как будто основательно.

— Говорят, кокандцы — воинственный и жестокий народ?

— Дерутся они хорошо, — подтвердил Бутаков, — но дело тут не в них, или, вернее сказать, не столько в них. Глазами кокандцев сейчас в нашу сторону очень пристально смотрят англичане.

— Откуда в степи англичане? — искренне изумился Плещеев. — Англия так далеко.

— И в то же время близко: не забывайте Индию.

Беседуя об Ак-Мечети, кокандцах и англичанах, они прошли вместе три квартала и остановились на перекрестке.

— Я временно квартирую у приятеля. Если хотите, зайдем. У него водка есть. Посидим... Довершим незаконченный ужин.

— Благодарю вас. Будет ли удобно?

— Чепуха! Это мой друг. С ним я два года провел в экспедиции.

Аральский Колумб решительно взял Плещеева за локоть.

— Идемте! Идемте!

Они подошли к дому с высоким крыльцом. Бутаков постучал в дверь. Ему открыли почти сразу.

— Алексей Иванович у себя?

— Да! — ответил женский голос.

В эту минуту с левой стороны распахнулась дверь и раздался сочный баритон:

— Это ты, Леша?

— Собственной персоной. Только я не один. Веду гостя.

— Чудесно. Прошу!

Плещеев через темную прихожую вошел в освещенную комнату и вздрогнул от неожиданности: перед ним стоял Аскер-хан!

АРАЛЬСКИЙ КОЛУМБ

...Майская белая ночь столицы, пронизанная неверным светом, была призрачна, как сновидение. Они вышли с собрания втроем: поручик Момбелли, штабс-капитан Макшеев, прозванный друзьями Аскер-ханом, и он, поэт Пле-